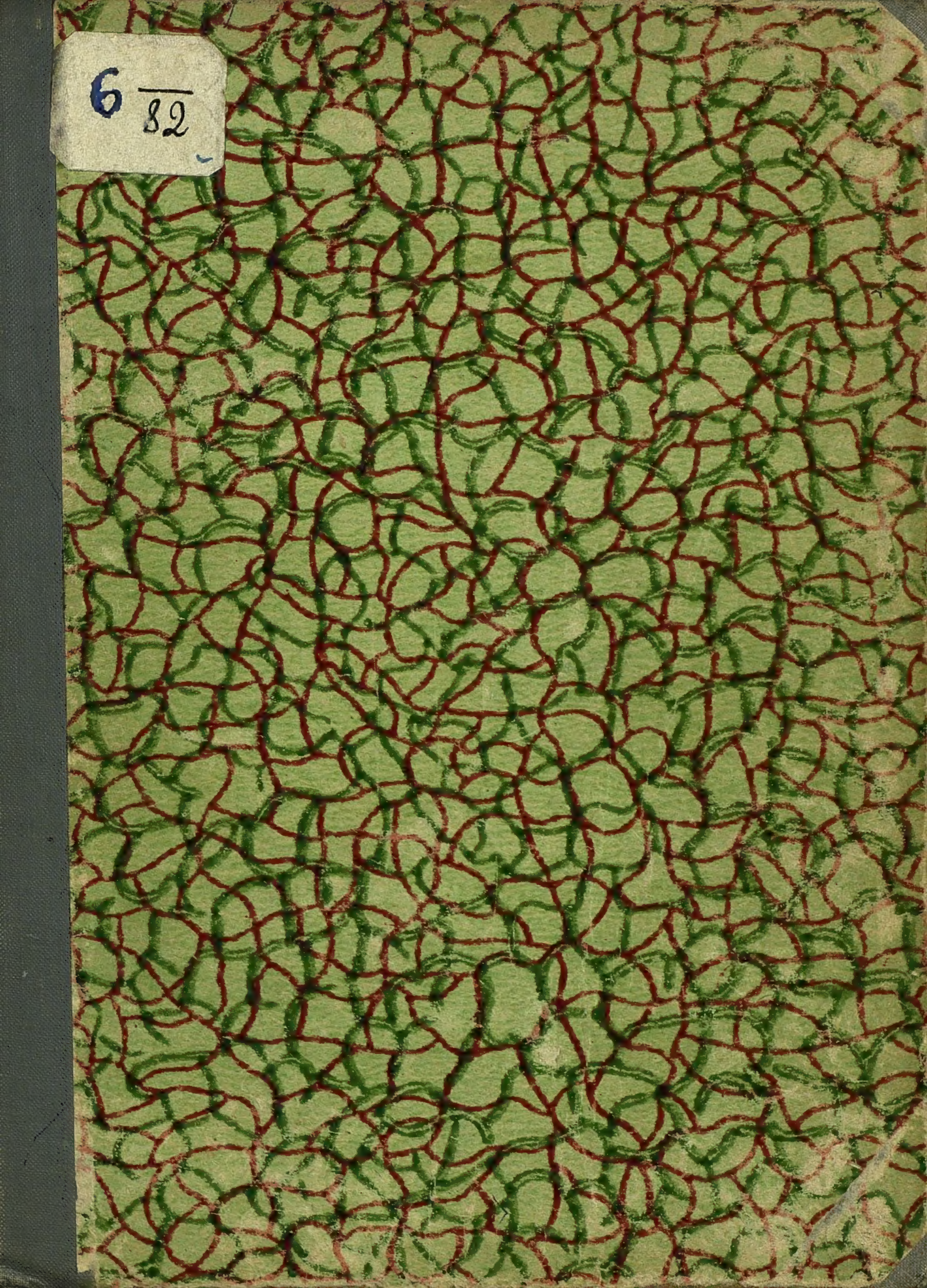
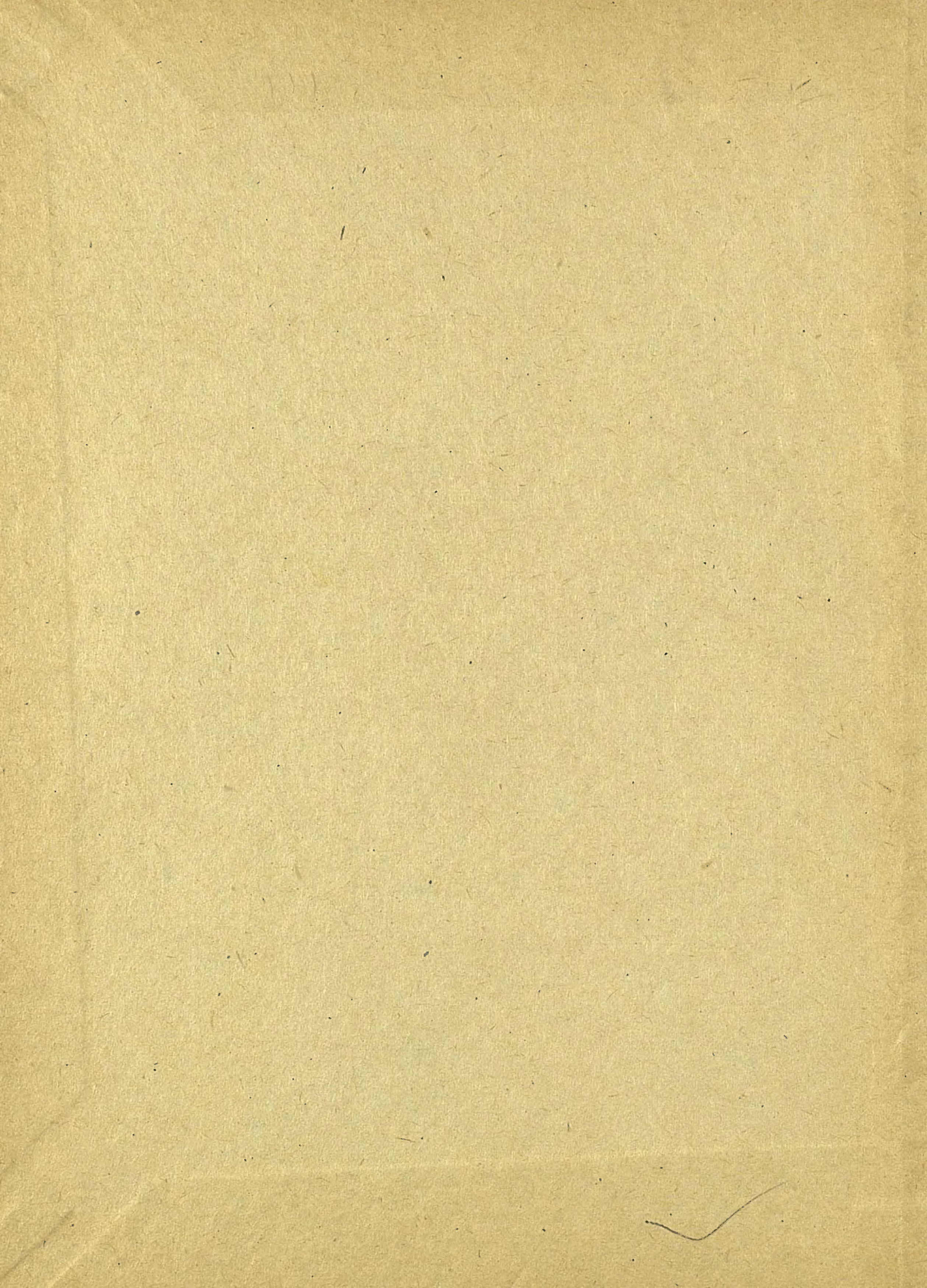

6 / 82





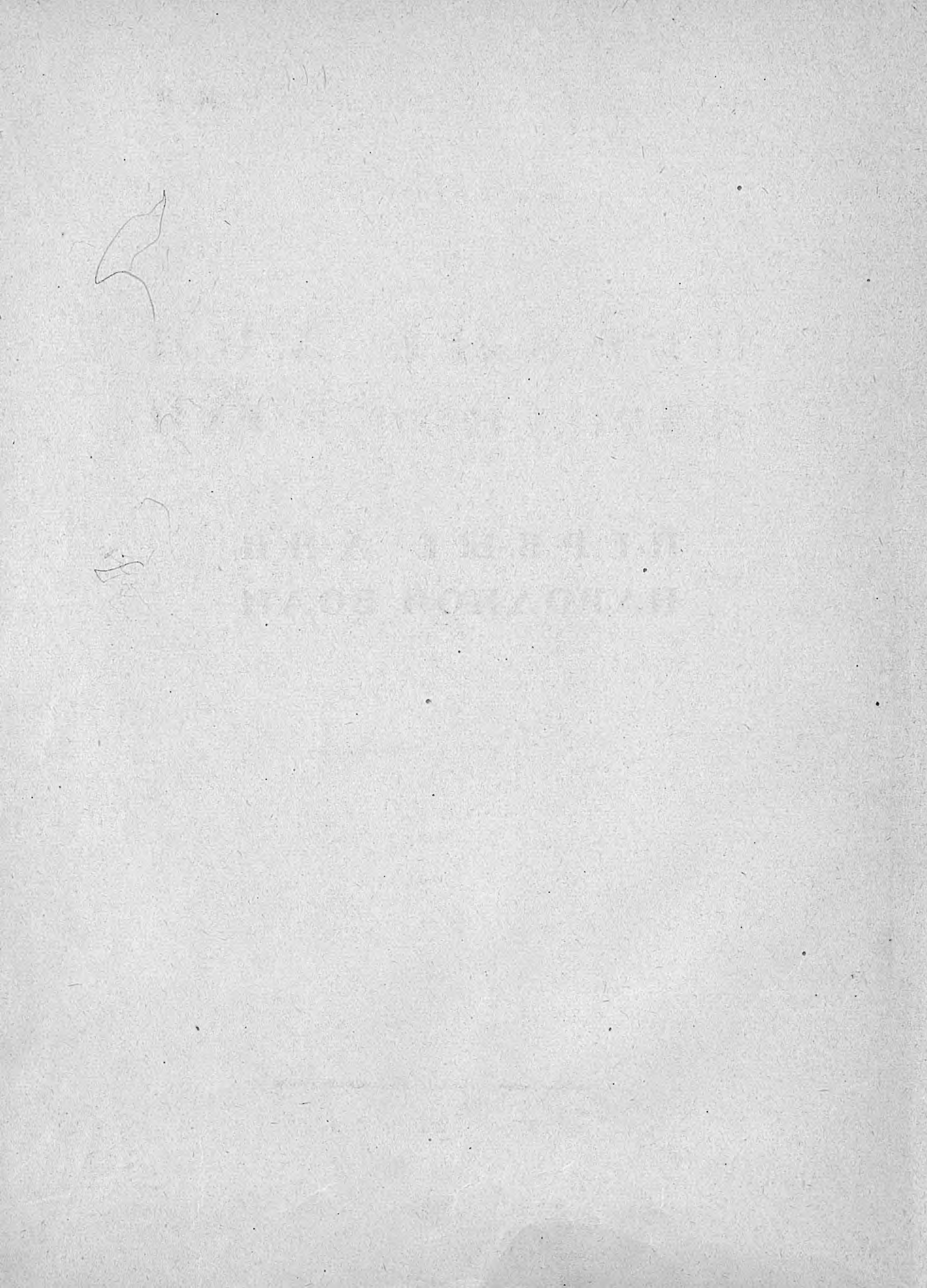
В. И. ИОХЕЛЬСОН

ПЕРВЫЕ ДНИ НАРОДНОЙ ВОЛИ



ПЕТЕРБУРГ
1922

ПЕРВЫЕ ДНИ НАРОДНОЙ ВОЛИ



МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

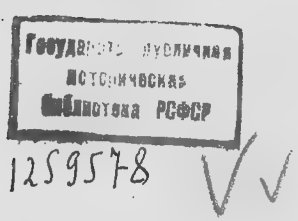
В. И. ИОХЕЛЬСОН

ПЕРВЫЕ ДНИ НАРОДНОЙ ВОЛИ



ПЕТЕРБУРГ • 1922





Р. Ц. № 661
Напечатано в количестве 1000 экз.


Я принадлежал к организации Народной Воли с начала ее возникновения до конца 1885 г., т. е. до времени моего ареста. Я примкнул к организации скоро после Липецкого съезда и в конце 1879 г. уже числился одним из агентов Исполнительного Комитета.

Предметом сегодняшней беседы я выбрал свои воспоминания и переживания за последние месяцы 1879 г. и за первые месяцы 1880 г. Это время можно назвать первыми днями, днями расцвета народовольческой деятельности.

Хотя мои воспоминания носят в значительной степени личный характер, но, надеюсь, что они дадут и общую картину той революционной эпохи.

Я прибыл в Петербург с юга России в конце лета 1879 г. и первым делом, к которому меня пристроила организация, была работа в динамитной мастерской.

Это была квартира в Басковом переулке в пятом этаже. Она была устроена с таким расчетом, чтобы окна выходили в открытое место и чтобы из квартир соседних домов нельзя было в них заглядывать. В квартире жили Григорий Исаев и А. В. Якимова. Работами руководил Ширяев. Здесь было два лабораторных прибора для производства нитроглицерина. В сосуд с известной смесью серной и азотной кислот, стоявший в холодной ванне, пускали капли глицерину из стеклянной банки с краном. При образовании нитроглицерина жидкость часто начинала дымиться от самонагревания смеси. Для предупреждения

взрыва быстро охлаждали смесь бросанием в ванну кусков льда. Раза три, я помню, за время моей работы на этой квартире, мы стали задыхаться в ядовитых парах, и пришлось открыть окна с риском обратить внимание соседей на выходивший из нашей квартиры дым. Но все обходилось благополучно. В последнем процессе при смешении нитроглицерина, насколько мне помнится, с магнезией, получался динамит в виде тестообразной жирной массы, которую мы мяли руками. От отравления при вдыхании паров нитроглицерина и от проникновения его через кожу при приготовлении месива появлялась тошнота и головные боли. Я помню, раз с А. В. Якимовой случился продолжительный припадок, и мы в тот день остановили производство. Я ходил за кислотами в аптекарский магазин Штоля или еще в один оптовый склад, название которого забыл. Кислоты покупались обыкновенно в 20 фунтовых бутылях, и это не обращало на себя ничьего внимания.

Через две или три недели работы в динамитной мастерской я поехал с поручениями по Варшавской железной дороге, но помню теперь только пребывание в Минске, где у меня уже были связи и где я достал тогда через одного из братьев Хургинов несколько мещанских паспортных бланок, необходимых для уезжавших из Петербурга на юг для приготовления подкопов [1]. Потом московские народовольцы завязали с Минском прямые сношения. Из Минска доставляли также шрифт. Я, помню, останавливался там у инженера Носовича. Один из членов минского

---

[1]) Нередко списывали копии с настоящих паспортов. Это делалось таким образом. Кто нибудь занимал номер в гостинице, как приезжий, и помещал объявление в газете, что ищет служащих для экономии или другого дела. От являвшихся, которым выдавали денежный аванс, отбирали паспорта, снимали с них копии, подписи и печать и потом возвращали их владельцам с выражением сожаления, что дело расстроилось.



Владимир Ильич Иохельсон
1900

(Неизданный портрет из собраний Музея Революции)

кружка, Гецов, сделавшись нелегальным, впоследствии очутился в Женеве, и я пригласил его в качестве наборщика в типографию «Вестника Народной Воли», которой я в 1884—85 гг. заведывал. В 1900 г. я с ним встретился в Нью-Иорке, где к тому времени он владел уже двумя аптеками.

Я вернулся в Петербург в сентябре. Я нашел, кажется, динамитную фабрику уже на другой квартире. У меня осталось в памяти, что тогда приезжал в Петербург Гольденберг, и что к его отъезду я ему привез на вокзал чемодан с динамитом. Помню, что Исаев просил меня отвезти чемодан, потому что «долговязый Гришка» может обратить на себя внимание дворников. [1])

В конце сентября производство динамита было закончено. Ширяев, Исаев, Якимова и др. поехали в Москву или дальше на юг. Я вспоминаю, как уехали Ширяев и Якимова. Я проводил их на Николаевский вокзал и помог им устроиться в третьем классе с их тяжелым и опасным багажем. Спираль Румкорфа в полированном ящике и гальваническая батарея были прямо положены на сетку, а чемоданы под лавки. Ширяева я уже больше не видел после этих проводов. Через несколько дней после его возвращения в Петербург после московского взрыва он случайно был арестован на квартире своей невесты. Помню, как возмущался преступной халатностью Ширяева Михайлов, который в конце концов был тоже арестован благодаря собственной неосторожности. Якимова и после Москвы содержала динамитную мастерскую, как квартирная хозяйка,

---

[1]) Я был одним из тех лиц, которых Гольденберг в своих знаменитых показаниях не оговорил, хотя он меня знал с 1877 г. Весной 1879 г. после убийства князя Крапоткина в Харькове, он у меня скрывался в Киеве. С другой стороны о других он дал самые детальные показания о совершенно незначительных делах.

но с этой квартирой я непосредственных сношений не имел, хотя знал, где она находилась.

После отъезда Михайлова в Москву деловые сношения со мной перешли к Квятковскому. Я встречался также с Морозовым, Тихомировым и Оловенниковой. Встречи часто происходили на Лиговке в конспиративной квартире, занятой Грязновой, жившей потом в типографии Народной Воли в качестве кухарки. На этой квартире жил также известный под кличкой «Абрам» рабочий Лубкин, застрелившийся при аресте типографии Народной Воли. Сейчас я говорю о моменте, когда отдельная народовольческая типография только устраивалась. При разделении Земли и Воли, как известно, типография перешла к группе чернопередельцев, и для Народной Воли Зунделевич привез из-за границы новую. Часть шрифта для новой типографии добыли в Петербурге. Я помню, как Тихомиров раз повел меня к Н. Ф. Анненскому, жившему тогда в Троицком переулке, и мы оттуда вынесли по несколько страниц неразобранного шрифта. Потом я раза два повторил свое посещение с тою же целью. Замечу, что Грязнова только в ноябре была поселена в типографии в качестве кухарки. Одно время эту роль играла Сергеева, жена Тихомирова, впоследствии перешедшая с ним в лагерь монархистов.

Паспортный стол Земли и Воли был передан народовольцам, и чернопередельцам предоставлено было право им пользоваться. Квятковский предложил мне им заведывать. Я согласился. Он для меня нанял комнату с отдельным ходом на Бассейной в квартире одной старой немки. Он мне говорил о ней, как о своей хорошей знакомой, на которую можно положиться. Это была сестра прислуги, служившей у Квятковского летом в Лесном, когда у него жила В. Н. Фигнер. Квятковский мне дал для прописки паспорт какого-то кав-

казца. Такой вид вовсе не соответствовал моей светлой наружности, но я тогда еще не интересовался вопросами об антропологических типах и не возражал. В участке прописали, значит хорошо. Скоро я оказался обладателем кожаного чемодана, наполненного печатями, штемпелями и красками, тетрадями с образцами текстов для паспортов, формуляров и удостоверений; папками, в которых были снимки с подписей, и много других вещей, относящихся к взрывам, а не к паспортному делу. Вообще учреждение не было в порядке. Я им занялся. Я изучил паспортный устав и как и что надо писать в различных случаях. Квятковский почти ежедневно приходил ко мне за паспортами, отпусками, аттестатами, отставками и др. документами, удостоверяющими личность. Почти все я писал своей рукой, подписи делал Квятковский или я сам выводил их измененным почерком. Много было нелегальных, принужденных часто менять паспорта. Уезжавшие запасались двумя — тремя видами. Недостаток был в печатных бланках для мещанских и крестьянских паспортов. Приходилось на старых паспортах вытравливать написанное щавелевой кислотой и другими химическими продуктами, а потом бланки проклеивать, чтобы не расплывались чернила. Все это неудобно было делать в комнате, и я производил это в квартире Морозова, жившего с Ольгой Любатович под именем супругов Хитрово. Со стороны чернопередельцев ко мне ходил за паспортами Н. П. Щедрин. После его отъезда на юг был делегирован один из братьев Приходько, не помню который.

Тут я хочу несколько остановиться на человеке, который был мне одновременно товарищем и учителем, роль которого в движении и личные достоинства которого недостаточно оценены. Я говорю об Ароне Исаковиче Зунде-

левиче. Он теперь в Лондоне, и я к сожалению не могу у него проверить того, что тут напишу. Он сам мог бы сообщить немало интересного и важного для истории революционного движения 70-х гг. прошлого столетия. Но я не мог его к этому побудить. Когда я с ним виделся в Лондоне (в 1908 и 1912 гг.) он мне говорил, что писать не хочет и не умеет, и что память ему во многом изменила. О трагическом свидании с Гольденбергом в Петропавловской крепости, которое предоставили им по просьбе Гольденберга в его камере в присутствии прокурора Котляревского, Зунделевич мне рассказал как-то неохотно и вяло. Не то событие это потеряло для него интерес, не то ему тяжело было возвращаться к этому моменту. А именно, после этого свидания Гольденберг окончил самоубийством. Зунделевич ему открыл глаза на его предательство. Котляревский играл на самолюбии Гольденберга, уверив его, что в результате его откровенных показаний будут крупные политические реформы и что никто из оговоренных им лиц не пострадает. На одном из последних перед его самоубийством допросов, Гольденберг напомнил Котляревскому, что он ему говорил, что ни один волос не упадет ни с чьей головы. На это Котляревский ответил ему: «Волосы не упадут, но голов немало упадет». Тогда Гольденберг стал просить о свидании с Зунделевичем. Когда Котляревский повернулся к ним спиной, Гольденберг, показывая на него сжатым кулаком, сказал: «Вот кто меня погубил».

В последний раз перед своим арестом Зунделевич приехал из-за границы в конце сентября или начале октября 1879 г. и привез принадлежности для устройства новой типографии. Тогда же приехал в Петербург Л. И. Цукерман. Личные потребности Зунделевича были весьма

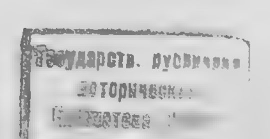
скромны. Он никогда не заботился об удобствах для себя. С другой стороны он не только не был ригористом и снисходительно относился к невинным слабостям других, но и сам приносил «гостинцы» и старался доставлять товарищам удовольствия, которыми сам не пользовался. Так, приехав в Петербург, он обыкновенно не устраивался в своей комнате или квартире, а ночевал там, где его заставали дела, и ел, что попадалось или оставалось от других. Он часто ночевал у меня после своего приезда из-за границы. Тогда я познакомился с его личными взглядами на новую форму революционной деятельности. Из воспоминаний Н. А. Морозова мы знаем, как он понимал свои теоретические разногласия с Тихомировым. Но ни у Морозова, ни у других писавших о «Народной Воле», я не встречал упоминаний об особых взглядах, которые развивал Зунделевич на редакционных совещаниях. А между тем то, что я слышал об этом от самого Зунделевича, представляет большой интерес. Зунделевич не только был незаменим для партии в области чисто практических функций, но он был также теоретическим воодушевителем, хотя его нельзя считать ни оратором, ни писателем. Но то, что он высказывал, всегда было ясно и оригинально. Так, например, он не стеснялся говорить о попытке освободить Войноральского, организованной в его отсутствии из Петербурга, как о донкихотском предприятии, лишь случайно ограничившемся одной жертвой: арестован был один участник — Фомин [1]). Зунделевич был против вооруженного сопротивления при аресте в смысле либерального принципа защиты личности

[1]) Подробности этой попытки, в которой, кроме Фомина, участвовали: Михайлов, Квятковский, Баранников, Перовская и М. Оловенникова, см. М. Р. Попов «Из моего революционного прошлого», «Былое», 1907 г., август, стр. 252—253.

и жилища от насилий полиции. Он допускал его только тогда, когда арест и без того должен был вырвать борца из рядов революции. Он вообще не носил с собою оружия. Еслиб не предательство Гольденберга, правительство ничего бы не знало про его деятельность, и его арест, при отсутствии тогда в партии провокаторов, мог бы окончиться для него несерьезными последствиями.

Зунделевич мне раз прочел свою программу, предложенную им при обсуждении декларации редакции Народной Воли. Я не могу передать подробностей, но общий смысл его плана сохранился у меня в памяти. Многочисленные попытки деятельности в народе и организации городских рабочих дали в результате одни жертвы. Только небольшая группа народников еще продолжала теоретически отрицать необходимость политической борьбы, хотя практически им постоянно приходилось бороться с агентами правительства. Но большинство революционеров пришло к убеждению, что прежде всего необходимо свергнуть абсолютизм. К этому выводу пришли люди различных фракций. Вот почему в образовании Народной Воли приняли участие элементы, которые раньше не уживались вместе. Тут были народники-пропагандисты, народники-бунтари, бланкисты, т. е. ткачевцы, и др. Все желали политической свободы, но различно понимали средства к ее достижению. Большинство, однако, еще основывалось на вере в социалистические инстинкты народной массы и Народную Волю понимали как «народное желание», которому надо было дать обнаружиться устранением гнета самодержавия. Тихомиров, как я его тогда понимал, был выразителем этого направления. Я помню, как он однажды говорил в конспиративной квартире, которую я впоследствии занимал, что он пойдет революционным путем только до

передачи власти народу, а потом он, подобно Цинциннату, будет мирно сажать капусту. Н. А. Морозов смотрел на политический террор, как на современную форму революции. При этом он отрицательно относился к централистической организации террора, мешающей повсеместному росту этой формы революции. М. Н. Оловенникову можно рассматривать как представительницу ткачевцев в Народной Воле. Она принадлежала раньше к кружку ткачевцев-орловцев, к которому примыкала также Сергеева, жена Тихомирова. Заговорщицкий элемент в программу Народной Воли, мне кажется, вошел под влиянием этой группы. Военный заговор понимался этой группой в смысле захвата власти для целей декретирования нового строя. Раз, я помню, М. Н. Оловенникова доказывала, что сто решительных офицеров, при условии нахождения среди них начальника дворцового караула, могли бы арестовать царскую семью и захватить в свои руки власть. Более реальными политиками, смотревшими на террор, как на средство завоевания конституционных прав, необходимых для работы в народе, были южане — Желябов и Колоткевич. Народная Воля понималась ими как «народная свобода». Зунделевич тоже смотрел на террористическую борьбу, как на борьбу за политическую свободу, но он несколько иначе ее комментировал. Зунделевич тогда уже был сторонником немецкой социал-демократии. Я бы сказал, что из русских революционеров это был первый социал-демократ. Но он не был слепым поклонником немецкого социализма. Он вполне признавал парламентарную деятельность социал-демократических депутатов, которую отрицали русские революционеры, в особенности бакунинского толка, но когда легальная политическая борьба невозможна, тогда необходима революционная борьба с правительством. Он, правда, до-



пускал несколько особый от западной Европы путь развития России, но социальный строй, говорил он, нельзя изменить в 24 часа. Необходима организация и развитие народных масс, а для этого нужна свобода совести, собраний и слова, печатного и устного, и эту свободу можно добыть при помощи террористической борьбы. Зунделевич шел еще дальше. Он говорил, что еслиб учредительное собрание санкционировало царизм с его бесправием, то идейное меньшинство вправе было бы вести революционную борьбу против воли большинства. Он был против насилия меньшинства над большинством по рецепту Бланки и Ткачева, но стоял также за право меньшинства бороться с насилием большинства над совестью и словом. Вот, в общих чертах, идеи, которые заключались в его программе.

28 октября я ждал к себе Зунделевича, но он не заходил ни в этот, ни в следующий день. Через два дня Квятковский мне сообщил, что получены сведения, что «Зунд» арестован был в Публичной библиотеке. Он оставил в кармане пальто три номера «Народной Воли», и швейцар, заметивший их, донес, и его арестовали при выходе из библиотеки. И в этом печальном эпизоде он обнаружил небрежность, непростительную по отношению к себе, в то время как он всегда заботился о безопасности других. Для меня лично его арест был большим ударом. Я как бы осиротел.

После отъезда участников покушений на царя в Москву и дальше на юг, в Петербурге еще остались силы, которые были использованы для подготовления покушения на петербургского генерал-губернатора Гурко, который был назначен после покушения Соловьева с особыми полномочиями. Он утверждал приговоры военных судов и в жестокости конкурировал с киевским и одесским сатрапами—

Чертковым и Тотлебеном. Сначала надо было устроить наблюдение над его выездами. В этом наблюдении участвовало много лиц, которые дежурили на Мойке, где находился генерал-губернаторский дворец, с утра до поздней ночи. Не помню теперь, как продолжительны были дежурства, но наблюдатель оставлял свой пост только тогда, когда он замечал появление своего заместителя. Из производивших наблюдения, кроме меня, я вспоминаю Ольгу Любатович, Евгению Фигнер, Гесю Гельфман, М. Н. Оловенникову и ее сестру Наташу, Гриневицкого, Мартыновского и Коковского. Может быть были и другие наблюдатели, которых не помню или с которыми мне не приходилось сменяться. Наблюдениями руководил Квятковский, которому доставлялись записи по наблюдениям. Наблюдатель должен был издали гулять, не выпуская из виду подъезда дворца, или проходить деловым шагом с портфелем под мышкой. Часто я гулял не один, а с одной из дам под руку. Наблюдение чрезвычайно облегчалось парадами выездов Гурко. За полчаса до выезда его коляска появлялась уже у подъезда с нарядным кучером и выездным лакеем. За пять минут до выезда из ворот дворца выскакивали на лошадях четыре гвардейских казака в парадной форме с винтовками и пиками на перевес. Двое из них становились с боков коляски, двое сзади. Направление лошадей показывало в какую сторону поедут. В это время наблюдатель успевал высмотреть лихача, на которого садился без торгу после проезда Гурко и, не говоря, куда именно ехать, направлял его вслед за Гурко. Петербургские лихачи привыкли к седокам, показывающим только повороты и платящим хорошо. Где коляска Гурко останавливалась, там, не доезжая до нея или проезжая мимо, наблюдатель останавливался на каком нибудь углу или у подъезда и оставался в этом районе до отъезда

Гурко в другое место. На обязанности наблюдателя, поехавшего за Гурко, было следовать за ним до возвращения во дворец, около которого уже находился другой наблюдатель. Так было установлено, куда, с кем и в какие часы он ездил. Я, например, помню, что по понедельникам он один ездил обедать на Литейный недалеко от Невского. Не знаю, чему это приписать — нашей осторожности или неопытности тогдашних охранников, не обученных еще провокаторами, но никто из нас не привлек к себе внимания филеров, стоявших обыкновенно на другой стороне Мойки, там, где Морская выходит на Исакиевскую площадь и где находился дом министерства внутренних дел. Они сразу наблюдали за дворцом Гурко и за домом министерства. Я знал в лицо чуть ли не всех филеров. Приходилось также видеть выезды министра внутренних дел Макова, который ездил в закрытой карете под охраной только двух казаков. Карета его тоже долго ждала на улице. Но это были наблюдения, так сказать, по пути.

Когда данныя о выездах Гурко, — случайных и правильных, — были выяснены, явился вопрос о выполнении покушения. Я два или три раза присутствовал на совещаниях по этому вопросу. Они происходили на квартире Гриневицкого. Были: Гриневицкий, Мартыновский, Коковский и я, как предполагаемые исполнители, и Тихомиров в качестве члена Исполнительного Комитета. Известно, кто были Мартыновский и Гриневицкий. Первый судился по процессу 16-ти, первому процессу народовольцев, по которому судились Квятковский и Зунделевич. От руки второго погиб Александр II. Коковский был студентом Киевского Университета. Александр Михайлов пригласил его в Петербург одновременно со мной. Коковский был даровитый, развитой юноша, обладавший литературным и ораторским талантом.

Еще в Киеве он выделялся на студенческих сходках и умел говорить с рабочими. Но он был физически хрупкий, чахоточного сложения — в 1881 году должен был поехать в Крым, где он умер от туберкулеза. Тихомиров посвятил ему в № 4 «Вестника Народной Воли» небольшую статью, в виде воспоминаний [1]). С. И. Мартыновский тоже был еще юноша. Ему еще не было 20 лет. Но он перешел уже на нелегальное положение. Бывший студент Константиновского Межевого Института, он недавно приехал из Москвы. Его смуглое, безбородое еще лицо имело решительный, мужественный вид. Другой тип представлял И. И. Гриневицкий. Студент Технологического Института, он был представителем народовольческого кружка студентов технологов и инженеров. Он был известен под кличкою «Кот». По своей большой круглой курчавой голове, высокому лбу, добродушному широкому лицу, он мне напоминал Кравчинского. Но он был невысокого роста, коренастый. Он был очень скромен и мало разговорчив. Наши собрания не носили официального характера. Они происходили под видом непринужденной беседы. Я вспоминаю вялое лицо и медленную речь Тихомирова. Он сам ничего определенного не предлагал, а скорее вызывал других на предложение своих планов. Из всей этой молодежи я один имел за собою известный революционный стаж и опыт нелегальной жизни, но, как и другие, я не имел боевого опыта. Предлагались различные способы, но, помнится мне, что остановились на метательных снарядах и что Мартыновский вызвался быть первым метальщиком. Я не знаю, имели

---

1) См. Л. Тихомиров. «Из давнего разговора» (Памяти Коковского). «Вестник Народной Воли», 1885, № 4, стр. 600.

Коковскому принадлежат статьи в №№ 1 и 2 «Рабочей Газеты», от 15 дек. 1880 г. и 27 янв. 1881 г. под заглавием: «Рабочее житье-бытье».

ли место другие собрания, без меня, или с другими еще лицами.

Наступило 19 ноября — день взрыва поезда под Москвой. В Петербург стали возвращаться участники неудачных покушений под Москвой и на юге. Некоторые, как Гартман, чтобы проехать беспрепятственно, покинули Москву еще накануне. Замыкали мину Перовская и Исаев. После неудачных покушений на царя все усилия были направлены на новые попытки. Уже имелся в виду взрыв в Зимнем Дворце, и покушение на Гурко было на время оставлено. С приездом участников покушений понадобились новые паспорта, и Квятковский ежедневно приходил ко мне. Но один день его не было, а на следующий пришел Михайлов с сообщением об аресте Квятковского и Евг. Ник. Фигнер по предательству какой-то девицы Богословской. Тогда же каким-то чудом удалось бежать из-под ареста Ольге Любатович и Н. А. Морозову и скрыться в квартире типографии.

Дня через два после ареста Квятковского я вернулся домой поздно и был удивлен свету в комнате хозяйки. Это она меня поджидала. Она сообщила мне, что утром приходил околоточный справляться обо мне, узнать, что я делаю. Она сказала, что я на службе, где не знает. Я успокоил хозяйку, а сам подумал, не находится ли это в связи с арестом Квятковского. Надо было об этом дать знать Михайлову или М. Н. Оловенниковой, которые вели тогда со мною сношения, но уже было поздно, притом за мной могли следить. Я остался дома, думая, что если заберут, то пусть заберут. Я ночью не спал, на всякий случай укладывая чемодан с паспортным бюро и свои вещи. Утром я имел свидание с Михайловым, предварительно приняв все меры предосторожности. Он сказал, что необхо-

димо сейчас же оставить комнату, если не поздно. Решено было, что я отвезу все на Николаевский вокзал и сдам на хранение, и что Мартыновский временно возьмет оттуда к себе чемодан с паспортным бюро. Мартыновский под видом вновь приезжего заехал с чемоданом в меблированные комнаты на Гончарной улице по паспорту Голубинова, написанному моей рукой. После этого я получил поручение от Михайлова подыскать помещение для конспиративной квартиры, в которой я мог бы поселиться с Гесей Гельфман, недавно бежавшей из ссылки. Я встретился с нею у Розы Личкус, тетки жены Кравчинского, и мы вместе пошли искать квартиру и закупить на рынке мебель. Когда все было устроено, я поехал к Мартыновскому за чемоданом, но в меблированных комнатах, где он поселился, его не оказалось, и швейцар и старший дворник мне говорили, что фамилия «Голубинов» в книге для жильцов вовсе не значится. А в это время Мартыновский уже был арестован. Об этом мы узнали в тот же день после моего посещения номеров. Вышло это так. Мартыновский как-то два дня прожил без прописки в номерах и переехал в том же доме во дворе в другие меблированные комнаты, где тоже не успел еще прописаться. В то время полицией производились повальные обыски целых домов, в особенности домов с меблированными комнатами, где жили учащиеся. Обыски делались полицией без жандармов и чинов прокурорского надзора довольно поверхностно, т. к. обыски производились по целым ночам, и полиция выбивалась из сил. Такой же обыск был произведен в номерах, в которых жил Мартыновский. Полиция не обратила бы внимания на хранившиеся у него вещи, если бы не нашли в столовом ящике номеров «Народной Воли». Только тогда было приступлено к более тщательному обыску. Открыли «паспортный стол»,

принадлежности для взрывов, химические продукты для приготовления взрывчатых веществ, гальванические запалы и другие вещи, не относящиеся к занятиям паспортиста.

Если бы Мартыновский был прописан в первых номерах и там арестован, то была бы оставлена засада, и я бы не мог уже уйти оттуда свободным. В отчете о процессе 16-ти приведены показания старшего дворника того дома, в котором был арестован Мартыновский, в которых он описывает мои приметы и одежду, как лица, справлявшегося о Голубинове.

В числе документов «паспортного стола» нашли копии паспортов, по которым жили Квятковский и Евгения Фигнер, уже арестованные; но всего ужаснее было то, что там нашли черновой проект метрической выписки о бракосочетании канцелярского служителя Лысенко с дворянкой Рогатиной. По справке в адресном столе оказалось, что супруги Лысенко живут по Саперному переулку 10, кв. 9. Полиция пошла туда с обыском и встретила вооруженное сопротивление. Тогда только полиция обратилась к жандармским властям, и квартира была взята. Это была квартира «Типографии Народной Воли». Арестованы были Софья Иванова и Бух (супруги Лысенко), Цукерман и Грязнова. Другой наборщик Лубкин застрелился. Полиция из антагонизма с жандармами хотела сама отличиться, и поэтому Клеточников не мог предупредить обыска на Саперной, ибо III Отделение ничего не знало еще ни о результатах ареста Мартыновского, ни о приготовлении к обыску на Саперной. Бумаги, найденные у Мартыновского, разбирались в секретном отделении у градоначальника на Гороховой. Я лично узнал о том, каким образом провалилась типография, только в ноябре 1880 года из отчета о процессе 16-ти, первом народовольческом процессе. Я был

тогда в Цюрихе и пришел просто в ужас. Хотя я не имел представления о том, что в хранившихся у меня материалах находилась копия такого важного документа, но меня удручала какая-то ответственность, и я написал Н. А. Морозову, находившемуся тогда в Женеве, отчаянное письмо. Приведу тут полученный мною ответ от него по этому поводу от 21 ноября 1880 г.

«Дорогой Владимир. Напрасно ты беспокоишься и волнуешься по поводу провала типографии, как он выяснился из процесса. Тебя никто не будет, да и не может обвинять за это. Дело в том, что о причинах этого провала мы знали на другой же день после него, но не говорили об этом, боясь деморализующего влияния, так как типографию провалила безалаберность человека, который играл заметную роль в деятельности последнего времени». Этот человек был Квятковский, повешенный вместе с Пресняковым. Надо сказать, что при обыске у Квятковского нашли также план Зимнего Дворца с отмеченным крестиком местом, откуда Халтурин 5 марта 1880 г. произвел взрыв столовой. Найденный план все-таки не предупредил взрыва.

Тем не менее, по отношению к провалу типографии Народной Воли я и после указанного письма чувствовал на себе какую-то вину. Я не мог мириться с фактом нахождения в моих руках копии документа, которую необходимо было уничтожить ради безопасности типографии.

Вернусь к нашей конспиративной квартире. Она находилась на Гороховой улице между Садовой и Екатерининским каналом; она помещалась во дворе, в третьем этаже, и состояла из трех небольших, скромно, но прилично обставленных комнат с длинным и узким коридором вдоль кухни и комнат. Когда я вернулся в Петербург по возвращении из ссылки в 1899 году, после девятнадцатилетнего

отсутствия, — время своего заключения в Петропавловской крепости (1885—1887) я, конечно, не считаю пребыванием в Петербурге, — я с волнением отправился на Гороховую улицу посмотреть дом, с которым у меня было связано столько воспоминаний и переживаний. Но я не мог его найти. Все как-то изменилось. Даже номера домов другие. А между тем я ясно помню наш вход на лестницу во дворе налево и четыре окна над входом, которые видны были из ворот, и в одном из которых находился для наших посетителей знак безопасности, долженствовавший быть снятым на случай провала. Вспоминаю, как я узнавал имена и профессии квартирантов, живших над и под нами, для сообщения их приходившим к нам, чтобы они, если наткнутся на неожиданный у нас обыск или засаду, могли указать, куда направляются.

Я жил по бумагам отставного чиновника, а Гельфман по паспорту мещанки. Для дворников она была моею гражданскою женою, и к ней поэтому относились проще, чем к барыне. У нас не было прислуги. Когда мы были одни, Гельфман нередко приглашала жену одного из дворников для домашних работ, и у нас установились со «двором» хорошие отношения. Утром около 10 — 11 часов я обыкновенно уходил с портфелем под мышкой, якобы на частную службу, и возвращался к обеду с той или другой покупкой, состоявшей из двадцати-тридцати фунтов бумаги для типографии Народной Воли, типографских красок, бутыли азотной или серной кислоты и других вещей не для мирного обихода. За кислотами обыкновенно заходил Тихомиров, который уносил их с соблюдением различных предосторожностей на квартиру Якимовой и Исаева. Прямых сношений между их и нашими квартирами не должно было быть. Но мы знали, где она находилась, и знали со слов

посещавших ее, как ловко Якимова и Исаев забронировали в ней фабрикацию динамита. Они подружились со старшим дворником и через последнего с местным околоточным, для которых устраивали приемы и угощение. После приезда из Одессы Н. И. Кибальчича я доставлял кислоты из аптекарского склада к нему на квартиру и он носил их на квартиру Исаева, где он работал.

За бумагой для типографии к нам приходила С. А. Иванова. Она бывала скромно одета и приносила несброшюрованные номера «Народной Воли», или прокламации, завернутые в черный коленкор, как портнихи носят куски материи или исполненный заказ. Таким же образом она уносила длинные свертки типографской бумаги. Из лиц, живших в типографии, нашу квартиру посещала одна только Иванова. Я знал всех остальных, находившихся там, но в это время я видался еще только с Цукерманом. Наши встречи происходили, согласно условию, на улице или в какой-нибудь кофейной, раз в неделю, в его выходной день. Цукерман и другой наборщик Абрам, настоящая фамилия которого была Лубкин, застрелившийся при аресте, жили в типографии без прописки и, как узники, целую неделю никуда не выходили. Только раз в неделю, по четвергам, день для полотеров, они утром, незаметно для дворников, уходили и возвращались вечером. В этот день наборные кассы, принадлежности для тиснения, краски, бумага и все печатное прятались в устроенный для этого специальный шкап, и после этого полотеры натирали полы прибранной квартиры. Так мы с Цукерманом проводили несколько часов, гуляя по улицам или сидя в какой-нибудь кофейне, вспоминали нашу берлинскую жизнь в 1875 году в коммуне, устроенной русскими студентами. Я, как и Цукерман, должны были воздержаться

от посещения каких-либо знакомых, в особенности, от посещения квартир учащихся, от которых могли остаться следы в виде слежки. С тех пор, как я поселился в конспиративной квартире, я перестал бывать у своих многочисленных знакомых; по делу, как, например, для передачи литературы, я назначал свидания на улице или в ресторане.

Вечера я обыкновенно проводил дома. Часть номеров «Народной Воли» и прокламаций Исполнительного Комитета, попадавших к нам на квартиру из типографии, мы брошюровали или складывали для передачи представителям кружков или рассылки по особым адресам в письмах и посылках. Для рассылки в конвертах имелись экземпляры, напечатанные на тонкой папиросной бумаге.

Почти ежедневно приходил Михайлов с написанным мелким почерком списком лиц, у которых должен был быть ночью или в ближайшие дни обыск. Мы переписывали фамилии и адреса, чтобы различными путями предупредить их. Прежде всего принимались во внимание лица, стоявшие к нам близко. Подлинный список тут-же сжигался. Я не знал имени Клеточникова и возможно, что я его никогда не видал, хотя я не вполне в этом уверен, но я знал, что эти списки приходят непосредственно от служащего в III отделении [1]). Функции нашей квартиры были весьма разнообразны. Кроме сказанного, она служила явочным местом для приезжих лиц, наиболее близких к организации. Я помню, что Желябов, Колоткевич, Фроленко и Кибальчич, когда приехали с юга, в конце декабря 1879 и в январе 1880 гг., имели наш

---

[1]) Однажды Ал. Михайлов мне назначил свидание в Летнем саду. Я пришел несколько раньше назначенного времени и застал Михайлова сидящим на скамейке с молодым человеком, чрезвычайно фатовато одетым, в лакированных ботинках, с цветным галстухом, с франтовской тростью. Выбритый с оставленными маленькими черными бачками и усиками, он производил

адрес. Для явки к нам также явился незадолго перед своим арестом Юрковский, невошедший в организацию Народной Воли. Квартира наша служила также для временного хранения взрывчатых веществ и местом, где временно могли укрыться особо разыскиваемые лица. Так, Перовская провела у нас после своего приезда из Москвы около месяца. Она жила без прописки и выходила обыкновенно в сумерки под вуалью и возвращалась не поздно. Помню, что в конце ноября нам уже было известно, что Гольденберг дает показания, и что имена участников покушений на царя, в том числе и Перовской, правительству известны. Гартман тоже провел у нас последние дни перед своим отъездом за границу. Одновременно с Перовской жила на нашей квартире нелегально, скрывшаяся из под надзора, Екатерина Туманова, судившаяся вместе с Гельфман и Любатович по процессу 50-ти. Не знаю почему, но она не примкнула к Народной Воле. Я устроил ей переезд через границу. У нас на квартире в задней комнате несколько раз происходили совещания, как я теперь понимаю, Распорядительной Комиссии, на которых ни я, ни Гельфман не могли присутствовать. Нас просто просили уходить. В числе присутствовавших на этих совещаниях кроме Тихомирова и Михайлова был Баранников или Желябов. М. Оловенникова заходила к нам довольно часто и нередко оставалась ночевать, чтобы помочь работе по рассылке номеров «Народной Воли» и прокламаций. Из лиц легальных у нас никто не бывал. За все время существования квартиры я помню, что два или три раза была Наталья

впечатление великосветского хлыща. Не зная кто это, я прошел мимо их, не подойдя к Михайлову. Потом Михайлов меня догнал в другой аллее и сказал, не останавливаясь: «иди домой, скоро буду». Он пришел и принес список лиц, у которых должен быть обыск.

Николаевна Оловенникова и раз Ольга Константиновна Трубникова, к которой Гельфман питала особую симпатию. Конечно, такое посещение могло произойти только с ведома Михайлова. Это было при встрече Нового Года.

Г. М. Гельфман была необыкновенно сердечный и добрый человек. Душевная драма, которую она пережила от разрыва со старозаветной семьей, к которой она была привязана, но из которой она бежала еще молоденькой девушкой, и страдания и издевательства, которым ее подвергали тюремщики во время отбывания ею наказания по суду в Рабочем Доме, не только не озлобили ее, но сделали ее особо мягкой по отношению к людям. Она не была красива, но черные глубокие глаза и приветливая улыбка делали ее лицо в высшей степени симпатичным. Наши отношения были товарищеские. При всей пылкости, с которой она относилась к революционной работе, Гельфман не роптала на то, что ей приходилось немало времени посвящать хозяйству. Правда, я делал покупки, ставил самовары, и наши жилички и секретные гостьи помогали ей в кухне, но на ее долю выпадало все-таки немало труда. То, что осталось у меня в памяти о ней из ее собственных рассказов о себе и из жизни на одной квартире, я использовал для очерка о ней в «Календаре Народной Воли». Я именно составил этот очерк. Часть материалов для него я получил от Тихомирова. Его сведения отмечены в примечаниях, как полученные в редакции «Народной Воли». Считаю своим долгом заметить, что мою статью редактировал и сделал в ней литературные изменения и сокращения Лев Ильич Мечников, так что не я один являюсь автором очерка. Но об издании «Календаря Народной Воли» я составил отдельную статью для журнала «Музей Революции».

За время четырехмесячного существования описанной конспиративной квартиры, я три раза уезжал из Петербурга с особыми поручениями: я устроил Гартману переезд через границу; по просьбе чернопередельцев я поехал с этой же целью с больной Верой Ивановной Засулич; я ездил за границу для рассылки прокламаций Исполнительного Комитета к французскому народу по поводу ареста в Париже Гартмана. Я остановлюсь тут несколько на этих трех поездках.

Моя поездка с Гартманом до границы, поездка, подробности которой я и теперь живо вспоминаю, произошла следующим образом.

В один из морозных дней первой половины декабря 1879 г. раздался в нашу квартиру звонок, сопровождавшийся условным стуком. Когда я открыл дверь, вбежал вечно занятый «дворник», т. е. А. Д. Михайлов, и, обращаясь ко мне на ходу в столовую, — первую комнату, служившую также салоном и мне спальней, — проговорил, заикаясь, как это было с ним, когда он торопился или волновался:

— Владимир, поедешь проводить «алхимика» (прозвище Гартмана) за границу?

Это, конечно, уже было решено, но мне было предложено в вопросительной форме. Я выразил свою готовность, указав все-таки на рискованность поездки так скоро после 19 ноября.

За столом, за чаем, еще сидели Геся Гельфман, Катя Туманова и С. Л. Перовская. Михайлов поздоровался с ними. Круглое, детски-ясное лицо Перовской приняло при словах Михайлова озабоченно-серьезный вид. Видно было что решение на счет Гартмана ей уже было известно.

— Да, его необходимо скорее отправить за границу... успокоиться, сказала она, как бы в ответ на мое замечание.

Гартман жил в гостинице. Его участие и роль в московском подкопе уже были установлены, газеты сообщали о нем биографические сведения, его фотографии были выставлены на улицах, и за его поимку была назначена награда. Быстрое раскрытие его личности сильно повлияло на Гартмана. Им овладела одна мысль — мысль о том, чтобы не отдаться в руки властей живым. Он стал поэтому нервничать. По словам посещавшего его Ал. Михайлова, Гартман при малейшем шуме в коридоре гостиницы баррикадировал изнутри свою дверь столами и стульями. Такими предосторожностями он легко мог обратить на себя внимание и выдать себя. Вот почему решено было переправить его за границу.

Михайлов торопился уйти. Вскоре после его ухода я открыл на звонок дверь. На пороге появился хорошо одетый молодой человек в форменной фуражке, закутанный в белое кашне. Это был Гартман. Я сразу его не узнал. Он был рыжеватый блондин, а из под кашне выглядывали небольшие темные баки. Однако, появившийся вслед за ним Михайлов рассеял мои сомнения. Михайловым было установлено правило — не приходить вдвоем или втроем на конспиративные квартиры. Теперь, идя сзади Гартмана, он мог убедиться, следят за ним или нет. Вообще, заботливость Михайлова о безопасности конспиративных квартир и нелегальных лиц была замечательна. Он производил наблюдения на улицах, где были расположены квартиры, проверял условные знаки в окнах, следил за поведением их обитателей. Раз я приехал прямо домой с покупкой, которую тяжело было нести в руках. Откуда ни возьмись явился Михайлов и стал бранить меня за неосторожность.

— Что-же, пешком не можешь итти? Хотя бы до угла только доехал, а то прямо до ворот. Так никогда не заметишь, если за тобой следят.

Вслед за приходом Гартмана и Михайлова был снят с окна специальный знак, выставленный для первого.

Насколько мне помнится, Гартман провел у нас до отъезда двое суток. На второй день его прихода была свадьба у дочери нашего хозяина, богатого домовладельца. Я знал это заранее. Михайлов предложил воспользоваться этим для устройства проводов Гартману.

Ольга Любатович описывает в своих воспоминаниях[1]) встречу Нового Года 1880 г. Встреча эта тоже происходила на нашей квартире. Не стану теперь поэтому описывать проводов Гартмана. За некоторыми исключениями в них участвовали те же лица, бывшие потом на встрече Нового Года. Я вспоминаю Михайлова, Преснякова, Ольгу Любатович, Морозова, Корбу, сестер Оловенниковых, Баранникова, Софью Иванову, Колоткевича, Тихомировых, Исаева и живших у нас Перовскую и Туманову. Было человек двадцать, но не помню кто именно еще. Желябов и Фроленко, встречавшие потом с нами Новый Год, были еще, кажется, на юге.

На юге еще был Кибальчич, а В. Н. Фигнер всю зиму 1879—1880 гг. оставалась в Одессе. Мне помнится, что Исаева и Якимовой по конспиративным причинам тоже не было, хотя не могу этого точно утверждать.

Весь дом был иллюминован, на улице стояли кареты, и ворота всю ночь были открыты. Звуки музыки и пляски на свадебном пиру совершенно заглушали необычный шум нашей квартиры, где тоже происходили танцы и пение. Танцовали однако в чулках и носках, без кожаной обуви. Но это было веселье на вулкане. Почти все были вооружены, и в нашей квартире было несколько медных раз-

---

[1]) Былое. 1906 г. Июнь. Стр. 125.

рывных снарядов, принесенных в несколько приемов Михайловым. И можно себе представить, что произошло бы, если бы намеренно или случайно появились непрошенные гости.....

Наши гости разошлись одновременно с началом разъезда свадебных гостей перед утром. Остались ночевать только Михайлов и Пресняков, которые на следующий день занялись гримом Гартмана.

Мужчины расположились в зале на полу, а женщины— в двух других комнатах. Мы еще долго не спали. Гартман чувствовал себя хорошо среди своих, после беспокойного состояния в гостинице. Но предстоящий отъезд его волновал. Гартман говорил, что, уезжая, он совершает преступление, что его отъезд — это бегство с поля битвы и измена товарищам. Михайлов его успокаивал, доказывая его право на небольшой отдых и необходимость переждать период интенсивных розысков.

— Пользы ты теперь не можешь принести, наоборот, товарищи должны отвлекаться от своих обязанностей заботой о твоей безопасности, — прибавил Михайлов сурово.

На следующий день мы встали поздно. Пресняков и Михайлов принялись в задней комнате за превращение Гартмана в английского денди. Его стригли, брили, красили в черный цвет, подводили брови и ресницы жидкостями из оловянных трубочек. Бледный цвет его лица сделался смуглым. Пресняков, молодой, интеллигентный рабочий, считался специалистом по гриму. Он сам неоднократно превращался из блондина в брюнета. Хозяйка с Тумановой готовили в кухне завтрак, а в «парикмахерской» Перовская, наблюдая за работой, говорила Гартману то же самое, что он слышал ночью от Михайлова, но в более мягкой и теплой, хотя и решительной, форме.



Лев Николаевич Гартман
1879

(Неизданный портрет из собраний Музея Революции)

Когда превращение Гартмана в не-Гартмана было окончено, Михайлов преподал нам целый ряд практических советов и наставлений. Все было предусмотрено до мельчайших подробностей. Свой прописанный вид я должен был оставить дома, чтобы не скомпрометировать квартиры на случай провала. Для дороги я получил от Михайлова другой вид.

Вечером, когда оставалось еще два часа до отхода поезда, я один отправился вперед на Варшавский вокзал, без вещей. По дороге я купил дорожный сак, большой шерстяной шарф, подушку, одеяло и некоторые другие дорожные вещи для Гартмана. На вокзал я приехал заблаговременно, чтобы стать у кассы в числе первых. Я взял два билета третьяго класса до Двинска, тогда называвшегося еще Динабургом.

На вокзале было много народу. Небывалое множество жандармских и полицейских мундиров всех рангов и тайных агентов, сновавших по всем углам вокзала, оглядывавших с ног до головы всякого вновь пришедшего и безцеремонно всматривавшихся в людские лица и затылки, повидимому, удручало публику. Не слышно было громких разговоров. Уезжавшие и провожавшие все больше говорили шепотком. На моих глазах двух молодых людей пригласили в жандармскую комнату, очевидно, для удостоверения личности. Никогда я еще не переживал таких тревожных минут, как тогда. Мне вспомнилась особая примета Гартмана, указанная в казенном объявлении — «громадные рубцы на шее и затылке от золотушных ран в детстве», и мне стало казаться, что драма неминуема. При этой мысли я весь холодел. Даже освещение вокзала мне казалось сильнее обыкновенного. Я себе представлял, как Гартман войдет в ярко освещенный зал, и тысячи глаз

устремятся на него, и потом...... он вытащит свои два револьвера.

Наконец открыли дверь на перрон. Я поторопился занять два места в вагоне на разных скамьях, так, чтобы я мог с своего места наблюдать за Гартманом. Его сак я положил в углу у самого входа в вагон. Я не должен был сидеть с ним рядом, чтобы в случае чего-нибудь не быть задержанным вместе с ним.

— Помни, сказал мне Михайлов перед уходом, что ты должен беречь свою квартиру.

Хотя у меня был новый паспорт, но, будь я арестован вместе с Гартманом, меня бы показывали дворникам и моя квартира, в которой находилась Перовская, могла быть обнаружена.

Занявши места, я вышел на платформу. Гартман должен был притти к третьему звонку, последовать за мной в вагон и на площадке незаметно для других взять у меня из рук билет.

После второго звонка я начал волноваться. Оставалась одна минута, полминуты до отхода поезда, а его нет. Вот раздался первый удар третьяго звонка. Я подбежал к выходу из зала. Посмотрел — вокзал был совершенно пустой. Все разновидности полицейской власти куда-то исчезли, но его не было.....

Вдруг из противоположных дверей показалась стройная и высокая фигура изящно одетого молодого человека. То был Гартман. В своем новом пальто с меховым воротником, белым кашне на шее и высоким шапо-кляк он был похож на молодого англичанина. Я понял тогда, как удачно был выбран Михайловым момент. Гартман быстро прошел зал, вышел на платформу и пошел за мной к вагону. Уже раздался свисток обер-кондуктора. Теперь на

платформе тоже не было полиции, кроме длинного ряда неподвижных, как статуи, железнодорожных жандармов, вытянувшихся во фронт лицом к вагонам.

На площадке вагона, когда поезд уже пыхтел и колеса двинулись, я передал Гартману билет. Он отправился за мной в вагон. В небольшой передней он успел сложить цилиндр, положить его за пазуху, надеть старую барашковую шапку. В вагоне я указал ему взглядом место, где лежал его сак, и сам сел на свое место в стороне.

В длинном вагоне третьего класса царил полумрак. Большие чемоданы и узлы, загромождавшие верхние полки, заслоняли и без того тусклый свет стеариновой свечки. Все устраивались поудобнее, перекладывали багаж. В полумраке своего углового места завозился и Гартман. Вскоре я различил его фигуру уже без кашне и без мехового воротника (который был только пристегнут к пальто), но с купленным мной пестрым шарфом, закрывавшим его рубцы на затылке и шее. Голова его прислонилась к стене. В нахлобученной старой шапке он со своим бритым лицом уже более походил на чухонца, чем на англичанина. Он имел вид человека, который собирается спать.

В вагоне все стихло. Время было тяжелое, и пассажиры неохотно разговаривали между собою. Какая-то чуйка начала было неодобрительный разговор о «скубентах», виновных в причинении безпокойств честной публике, но соседи не откликались.

Вдруг послышалось из соседнего вагона бряцание шпор. Публика насторожилась. Представители полиции, исчезнувшие куда-то из вокзала, а потом и с платформы, оказались в поезде. Одновременно двумя партиями и из двух противоположных концов поезда они стали осматривать вагоны. Так открылось шествие и в нашем вагоне.

Нижние чины освещали публику ручными фонарями, а агенты в погонах и в штатском всматривались в лица. И этот осмотр для нас окончился благополучно. На наш счет сомнений не было, но в публике потом говорили, что из других вагонов каких-то молодых людей сняли с поезда.

До самого Пскова на каждой станции происходил такой же осмотр поезда местными властями, и с таким же благополучным исходом. Потом обходы прекратились. Только на станциях особо больших городов присутствовали всевозможные власти. Но внутри вагонов публику уже не безпокоили. В Двинске я сходил в кассу взять два билета дальше, до Ковны. После Двинска я подсел ближе к Гартману, и до Ковны мы уже ехали, как познакомившиеся в поезде пассажиры. Гартман совсем не выходил из вагона. До Двинска он пользовался услугами кондуктора, а затем я уже сам покупал для нас обоих провизию. Мы успокоились, и вообще в вагоне чувствовалось больше свободы и мирного оживления.

В Ковне мы должны были оставить поезд, и опять наступили тревожные минуты. Уже было темно, когда поезд остановился. На вокзале — то же обилие начальства, оглядывавшего публику. Гартман взял свой сак и последовал за мной. Мы снова прошли точно сквозь строй и благополучно вышли на улицу. Я повел Гартмана на постоялый двор. Это был простой кабак, в котором имелись две клетушки для проезжающих. Я уже раза два там был, и хозяйка-еврейка встретила меня как знакомого. С пропиской там не безпокоили. Я занял одну клетушку, сказав хозяйке, что завтра мы поедем обратно. Поужинав, мы расположились на жестких койках. Гартман по обыкновению приставил к запертой на крючок двери стол. Я ему не мешал. Из кабака доносились шум и пение гулявших

новобранцев. В Ковне происходил тогда набор. Хозяева и прислуга были заняты, и на нас не обращали внимания. Но и тут не обошлось без инцидента. Шум в кабаке вдруг усилился. Началась драка, битье посуды и крики женщин о помощи. Кого-то послали в участок, а нас хозяйка просила через дверь быть свидетелями. Я ответил, что мы придем, но вместо того мы потихоньку оделись и вышли задним ходом на улицу. Там, под прикрытием собравшейся толпы, мы стояли, пока буянов не увели в полицию. Когда все стихло, мы вернулись в свою каморку.

Я предполагал на следующий день рано утром отправиться в пограничное местечко к нашему контрабандисту Залману, чтобы условиться с ним насчет переправы Гартмана, оставив последнего на один ден в кабаке. Но казус с новобранцами заставил меня несколько изменить план. В Ковне жил тогда в своем собственном деревянном домишке бывший могилевский раввин Соловейчик. Дочь его Марианна получила немецкое воспитание и сочувствовала немецкому социализму. Она была замужем за местным купцом и жила вместе с отцом и женатым братом. Все были превосходные люди. С этой симпатичной семьей меня познакомил в 1877 г. Цукерман, бывший родом из Могилева. С тех пор я неоднократно пользовался гостеприимством этой семьи, знавшей, что я нелегальный. Я направлял к ним и других лиц. В данном случае я не хотел было подвергать их столь опасному риску. Но пришлось на это решиться. Я пошел сначала один. По обыкновению Марианна охотно согласилась приютить на день моего товарища, не спрашивая, кто он такой. Прислуга и дети были на время удалены из дому, и мы поместили Гартмана в мансардной комнате. Бедный старик Соловейчик был опасно болен. Рак на левом плече, сведший

его скоро в могилу, доставлял ему сильные страдания, но это не мешало ему интересоваться всем тем, что делается в Петербурге.

Оставив Гартмана в таком надежном месте, я спокойно отправился на границу. До Вильковишки, последней станции перед Вержболово, я ехал по железной дороге, потом верст 20 на лошадях в сторону от полотна. На станции Вильковишки мобилизованы были все власти, в числе которых уже были также солдаты пограничной стражи. На случай, еслиб меня спросили, куда я еду, у меня был адрес помещика того уезда, продававшего землю. Но никто меня не останавливал. Я нанял извозчика в пограничное местечко. По дороге меня встречали и обгоняли верховые солдаты пограничной стражи. Я оставил извозчика до въезда в местечко и пошел к Залману пешком. Он жил в своем деревянном домишке, недалеко от пограничной речки, где находилась кордегардия, шлагбаум, пограничные посты и сухопутная таможня. Таможенные чиновники, офицеры и солдаты пограничной стражи и жандармы наполняли местечко. Как я опасался, Залмана не оказалось дома. Он был на немецкой стороне. Жена его была смущена моим приходом днем и без предупреждения. Пришлось провести день, не выходя из избы, в ожидании Залмана. Вечером он явился. Он выразил неудовольствие, что я приехал прямо в местечко, вместо того чтобы вызвать его в Ковно. Он, конечно, был прав. Это его компрометировало. Но в Петербурге было решено, что я не должен ни писать, ни телеграфировать предварительно. Я остался ночевать у Залмана, и на рассвете мы отправились с ним на станцию.

По приезде в Ковно, Залман отправился на свой постоялый двор, и мы с ним условились, что я приведу своего спутника к вечернему поезду на вокзал. Я имел

поручение проводить Гартмана до Берлина, но Залман окончательно запротестовал, говоря, что двоих труднее переправить через границу, что это лишнее, и что он сам обо всем позаботится. Я должен был с ним согласиться.

Вечером того же дня Гартман, опять закутанный в свой пестрый шарф, прошел со мной на вокзал в зал третьего класса, опять таки перед самым отходом поезда, и я указал ему на Залмана, за которым он должен был следовать в вагон. Этим окончились мои обязанности по отношению к переправе Гартмана.

Я переночевал в доме Марианны и утром на следующий день отправился обратно в Петербург.

Я вернулся в Петербург на пятый день после отъезда в 9 часов утра. Я не должен был итти прямо домой, а предварительно узнать от Михайлова, все ли там благополучно. Он жил в гостинице на углу Невского и Владимирской по паспорту отставного офицера и носил фуражку с красным околышем. Он каждый день выходил из дому в 11 часов утра. К этому времени я тоже пришел на Владимирский и пошел по панели, направляясь к Невскому. Встретив Михайлова, я поздоровался с ним как знакомый, и он передал мне, что дома у нас все хорошо.

Когда я проходил в ворота нашего дома, дежурный дворник поздоровался со мной по обыкновению, точно я никуда не отлучался. Благодаря сменам дежурных дворников мое отсутствие никем не было замечено. Это ободрило меня на дальнейшие отлучки.

Вскоре после моего прихода домой явился Михайлов. Я передал ему отчет о поездке. Допущенные мною отступления не вызвали неодобрительных замечаний. Победителя не судят: в тот же день получилась из-за границы

условная телеграмма от Гартмана, а через несколько дней и письмо из Парижа.

Скоро после своей поездки с Гартманом — это кажется было в начале января 1880 г., не помню точно, — я встретил где-то Стефановича. Он обратился ко мне с просьбой поехать с больной В. И. Засулич для переправы ее за границу. Это было тогда, когда все основатели «Черного Передела» — Плеханов, Стефанович, Дейч и Аксельрод, — решили покинуть Росию. Но они это устроили другими путями. Для В. И. они хотели более спокойной и надежной переправы. Я согласился ехать, если меня организация отпустит. Как я ожидал, никто не был против этой поездки. При всех теоретических и практических расхождениях между расколовшимися землевольцами, т. е. народовольцами и чернопередельцами, между ними не было вражды, которая мешала бы оказанию помощи. Товарищи вчерашнего дня стали политическими противниками, но не врагами. С особой симпатией все относились к Вере Засулич. Для народовольцев покушение на Трепова являлось первым террористическим актом, хотя в основе его лежали не общие политические мотивы, а месть за товарища. Правительство к ней относилось тоже как к террористке. Из показаний Гольденберга власти знали, что она находится в России, и ее усиленно разыскивали. Лично у меня сохранились приятныя воспоминания о первом знакомстве с ней, и я охотно поехал с ней.

Я позволю себе сделать тут маленькое отступление о моей первой встрече с Засулич.

Мое первое знакомство с В. И. Засулич относится к тому времени, когда, после оправдания судом присяжных, ее хотели арестовать в административном порядке, и ей удалось скрыться. Тогда еще я должен был с нею ехать за гра-

ницу, но не поехал потому, что она долго не соглашалась оставить Россию. Познакомил меня с ней Д. А. Клеменц, которого я знал с 1875 года, когда он был в Вильне проездом за границу. Клеменц сыграл значительную роль в моей жизни. В 1875 г. он повлиял на направление моей революционной деятельности, а через 20 лет, в 1894 г., когда Клеменц уже был правителем дел Восточно-Сибирского Отдела Географического Общества в Иркутске, а я находился еще в качестве ссыльного в глуши якутских улусов, — он привлек меня к участию в «Якутской экспедиции» на средства Сибирякова и этим открыл мне научную карьеру.

Первая встреча моя с Клеменцом в 1875 г. происходила в Вильне у его приятельницы, Анны Михайловны Эпштейн. Он ехал за границу. Его вдумчивая наружность, образная речь и обаятельная простота произвели на меня, юнца, неотразимое впечатление. Из-за границы он писал А. М. Эпштейн частые письма, которые она читала в нашем кружке. Это было живое и остроумное описание его путешествия по Европе. Письма его состояли из прозы, пересыпанной стихами, были полны юмора, метких сравнений и сериозных мыслей.

Вторично я встретился с Д. А. Клеменцом в Петербурге в один из своих приездов из Москвы в 1878 г. Он был тогда занят заботами о безопасности скрывавшейся Веры Засулич. Он хотел возможно скорее выпроводить ее за границу. Но Зунделевич долго не приезжал в Петербург. Поэтому Клеменц просил меня поехать с ней. Он назначил мне свидание у доктора Веймара, в квартире которого некоторое время после суда и скрывалась под охраной Клеменца Засулич. Ко времени моей встречи с Клеменцом он уже переселился с ней по каким-то сообра-

жениям к Грибоедову, отставному артиллеристу, товарищу Кравчинского. Веймар жил в собственном доме на Невском около Морской. Веймар меня не знал, и Клеменц сообщил мне какой-то пароль. Помню еще одну предосторожность. Хотя время было точно назначено, около 12 часов дня, тем не менее я должен был звонить только в том случае, если в дверях была выдвинута медная пластинка: «дома нет», иначе я должен был уйти, повидимому, чтобы не столкнуться с легальными посетителями. Я нашел дощечку: «дома нет» и позвонил. Мне открыл дверь сам Веймар. Это был выше среднего роста мужчина, с большой русой бородой и карими приветливыми глазами. Несмотря на поздний час Клеменц еще находился в постели. Он быстро оделся, и мы отправились к Грибоедову, жившему на Николаевской улице. Если вспомнить возбуждение в обществе по поводу процесса Веры Засулич, сочувствие, которым встречено было ее оправдание во всех слоях населения, и популярность, окружавшую ея имя, то понятно будет волнение, охватившее меня, когда мы подымались к Грибоедову. Грибоедовых мы застали за чаем. Кроме Засулич, тут была еще ее подруга Коленкина. Вскоре после нас пришел Лизогуб, которого я уже знал. Он был в цилиндре и фрачной паре. Как представитель черниговского дворянства, он был принят на аудиенции какого-то министра, о которой рассказывал юмористические вещи, и все смеялись. Коленкину, которую я видел первый раз, я сначала принял, по ея энергичному и несколько суровому виду, за Засулич. В. И. была одета просто, даже нигилистически. Блондинка с подвижным, приветливым и добрым лицом, В. И. мало казалась похожей на террористку, но в порывистых движениях и быстрой речи сквозила моральная сила. Оказалось, что она не соглаша-

лась ехать за границу. Клеменц убеждал ее на время оставить Россию, рисовал все прелести порядков западных стран, предлагал сопровождать ее и показать все интересное за границей. Разве можно было желать лучшего гида? Но напрасно Клеменц тратил свое красноречие. Я уехал обратно в Москву, оставив ее в Петербурге. Некоторое время спустя она все-таки поехала за границу с Зунделевичем. Она пробыла в Швейцарии до лета 1879 г. и вместе со своими друзьями вернулась в Россию. Теперь она снова собралась за границу.

И так я вторично оставил свою квартиру на несколько дней, не заявив об этом домовой конторе. Я встретился с В. И. на вокзале. Не помню теперь, кто ее провожал. Кажется, Дейч. Помню, что она была с подвязанным лицом. Мы сели в вагон. Я ехал более спокойно, чем с Гартманом. Повальные осмотры вагонов уже не производились, и мы доехали до Ковно без всяких приключений. Мы заехали в гостиницу. Я немедленно отправился на постоялый двор, где останавливался Залман. Он уже был там. При последней встрече мы условились, что в случае надобности я перед выездом из Петербурга вызову его условной телеграммой через местечко на немецкой стороне. Вечером того же дня он уехал с Верой Ивановной по направлению к границе.

После отхода поезда я посетил семью Соловейчик. Я был принят так же радушно, как всегда. Но Марианна меня встретила с упреком, что никого с собой не привел.

— Наверное Вы с кем нибудь опять приехали, сказала она, а потом прибавила: а я догадалась, кто был Ваш недавний спутник. И она назвала имя Гартмана.

Когда я вспоминаю свою третью отлучку из квартиры на Гороховой, у меня прежде всего всплывает в памяти

один вечер — вечер 5-го февраля 1880 г., когда произошел взрыв в Зимнем Дворце.

Было около 8 часов вечера. В квартире у нас никого не было кроме меня и Гельфман. Мы еще не знали о взрыве. Раздался звонок, сопровождаемый двумя условными стуками. Я открыл. Вошел Желябов. Своей обычной гордой походкой, с приподнятой головой и грудью вперед, он прошел через гостиную, освещенную керосиновой лампой, вошел во вторую комнату, где находилась Гельфман, и лег на диванчик, который стоял у кафельной печки и на котором спала обыкновенно Перовская и другие дамы, случайно ночевавшие у нас. Нередко у нас оставалась Мария Ник. Оловенникова. Когда Желябов с нами здоровался, видно было, что он был взволнован. Обыкновенно Желябова описывают брюнетом, с черной бородой. У меня в памяти он сохранился темным шатеном. Он был одет в этот вечер в черный полушубок, на котором темнорусые концы волос его окладистой бороды казались светлее обыкновенного, в картузе и высоких сапогах. Он был бы похож на русского торговца из внутренних губерний, приехавшего в Петербург по делам, еслиб не необыкновенный блеск его темнокарих глаз и печать превосходства в выражении лица.

— Вот вы тут сидите, заговорил Желябов, а не знаете, что час тому назад мы совершили два террористических акта, и что все участники невредимы.

Он рассказал о взрыве в Зимнем Дворце и об убийстве Жаркова. Он уже знал, что взрыв не достиг цели, но указывал на его значение. Подробности и размеры взрыва ему, впрочем, еще не были известны. О «казни» Жаркова он подробно рассказал, как было. Жарков был убит на льду Невы двумя агентами Исполнительного

Комитета. Один из них, знакомый Жаркова, по приглашению которого он пошел, шел впереди, за ним следовал Жарков. Второй агент незаметно для Жаркова держался в отдалении, сзади. Когда первый агент с Жарковым дошли до середины реки, второй подбежал к Жаркову и ударил его гирей по затылку. Когда он, оглушенный, упал, первый повернулся и вонзил ему кинжал в сердце. Тогда оба агента положили на убитом приготовленную прокламацию Испол. Ком. и пошли дальше. На набережной их ожидал третий агент. Рассказ этот меня взволновал, и мысленно я себя спросил, мог ли бы я совершить эту «казнь» по приказанию или поручению Исполнительного Комитета, и моментально ответил, что нет. В то же время у меня в голове появились имена совершивших казнь, и невольно у меня вырвалось вслух:

— А я знаю, кто это были.

Желябов приподнялся на кушетке и спросил меня:

— Ну, а кто это были?

Я назвал их.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Желябов.

— Я догадываюсь.

Желябов подумал и сказал:

— Но тебе об этом не следует говорить. При том ты ошибаешься.

Но я, конечно, не ошибался. Я невольно знал о приготовлениях, ибо они происходили почти на моих глазах. В конце января 1880 года была взята типография «Черного Передела». Из лиц, арестованных в ней, наборщик Жарков был на следующий день освобожден. По сведениям Клеточникова, сообщенным нам Михайловым, Жарков именно предал чернопередельческую типографию. Освобожденный якобы из под ареста Жарков, знавший Прес-

някова по его деятельности среди рабочих, через общих знакомых рабочих добился свидания с ним. Я не помню теперь, как Жарков объяснял свое освобождение. Но он предлагал свои услуги для устройства новой народовольческой типографии, чтобы ее предать. После провала первой типографии Народной Воли была организована «летучая типография», в которой Пресняков принимал участие. Пресняков имел с Жарковым несколько свиданий, о которых он сообщал Михайлову. Свидания Михайлова с Пресняковым происходили на нашей квартире в моем присутствии, и из их разговоров для меня ясно стало, что под предлогом показать летучую типографию Пресняков поведет Жаркова через Неву. Чтобы Жарков не опасался итти, Пресняков должен был предоставить Жаркову следовать за собой. Днем 5-го февраля я был у Кибальчича. Я принес ему бутыль с кислотой. Я застал у него Преснякова и Грачевского. Уходя, они условились вечером встретиться. Пресняков имел при себе револьвер и кинжал, а Грачевский унес что-то железное. Я на это не обратил внимания, но вечером во время рассказа Желябова все это получило определенное освещение. Впоследствии Пресняков при встрече со мною подтвердил мою догадку. Для властей виновники этого террористического акта остались необнаруженными. На суде их не обвиняли в этом убийстве. Только недавно в одном воспоминании, — не помню кого, — я прочел имя Преснякова в связи с убийством Жаркова, но там не упоминается Грачевский и не указаны подробности.

Накануне взрыва в Зимнем Дворце, 4 февраля, был арестован в Париже Гартман. Новое покушение на царя в самом дворце послужило лишним мотивом для русской дипломатии во Франции настаивать на выдаче Гартмана.

Правительство послало в Париж Муравьева, будущего обвинителя на суде по делу о первом марта, с документами, устанавливающими причастность Гартмана к московскому взрыву. Чтобы воздействовать на общественное мнение Франции и таким образом повлиять на французское правительство, которое готово было удовлетворить требование России, Исполнительный Комитет решил обратиться с воззванием к французскому народу. Михайлов мне передал, что решено, чтобы я поехал в первый большой германский город и оттуда разослал воззвание по указанным адресам.

Вспоминаю, как на 5-й или 6-й день после 5-го февраля у нас в первой комнате несколько человек были заняты приготовлением конвертов с прокламациями: «По поводу взрыва в Зимнем Дворце» и «По поводу убийства предателя Жаркова» для рассылки их по почте. В это время во второй комнате Тихомиров читал Михайлову, Баранникову и не помню еще кому черновик составленного им воззвания «К французскому народу», и он изменял, согласно замечаниям слушателей. Насколько помню, французский перевод воззвания был сделан А. П. Корбой и потом был умножен на гектографе, за отсутствием иностранного шрифта в «летучей типографии». Я, к сожалению, не помню теперь содержания воззвания и не могу его восстановить. Оно не приводится также в сборнике народовольческих документов Базилевского [1]).

На следующий день я отправился за границу. Я получил от Михайлова инструкции поехать в Кенигсберг и, не

[1]) Должен тут внести поправку. Прокламации этой не было в заграничном сборнике Богучарского: «Литература партии Народной Воли», но я нашел ее теперь на русском языке и на французском (как она была напечатана в Justice от 5 марта 1880 г.) в русском издании «Литер. партии Народн. Воли», выпуск второй, стр. 336—344.

входя там ни с кем в сношения, разослать в заказных письмах воззвание редакциям парижских газет и наиболее известным русским эмигрантам. Насколько помню, я не имел с собою для пересылки никаких писем и сам не должен был писать. В своих воспоминаниях Ольга Любатович говорит, что, будучи в Женеве, она получила от «товарищей» из России поручение организовать агитацию в пользу освобождения Гартмана, но она говорит не об официальном поручении Исполнительного Комитета. Этого не было. Правда, летом 1880 года, Желябов обратился к Драгоманову с известным письмом, предлагая ему «склонять общественное мнение в пользу народовольцев» и «быть хранителем архива Народной Воли». Потом Гартман, Романенко, я и др. являлись заграничными представителями народовольческой партии. В 1882 году П. Л. Лавров и Вера Засулич стали во главе заграничного Креста Народной Воли для сбора денег для заключенных и ссыльных. Но ко времени моей поездки в Кенигсберг Исполнительный Комитет еще не имел за границей официального представителя. Перед своим отъездом я указал Михайлову на те недоразумения, которые могут возникнуть от анонимной рассылки воззвания из немецкого города. Я предлагал самому отвезти его в Париж или послать из Кенигсберга для передачи редакциям кому-нибудь из популярных заграничных эмигрантов, как Лаврову, Кравчинскому или незадолго перед тем оставившему Россию Морозову. Первое предложение он отклонил на том основании, что для нашей квартиры не безопасно мое долгое отсутствие без выписки. Дворники в конце концов могут обратить внимание. Кроме того поездка в Париж опасна еще и с другой стороны. Эмигранты окружены шпионами, и я могу их привести с собою в Петербург. Но еще больше он

был против другого предложения — поручить кому либо из эмигрантов организацию распространения воззвания.

— Эмигрант не может, говорил Михайлов, явиться нашим представителем. Это прежде всего дезертир. Кто из революционеров сидит за границей, тот или не может разделять нашей программы, или не хочет разделять нашей опасности. Кто хочет с нами работать, тот должен быть в России. Руководство и указания нам из-за границы не нужны. Нашими дипломатами за границей являются наши действия, и с воззванием, нами подписанным, лучше обратиться в редакции непосредственно. Всякий должен понять, что мы не посылаем по почте прямо отсюда из-за возможности перлюстрации в России заграничных писем.

Я не могу теперь ручаться за точную передачу слов Михайлова, но таков был их смысл. Из обращения же Желябова к Драгоманову мы видим, что за три месяца изменилось отношение вождей партии к вопросу о персональном представительстве за границей. Может быть, на это повлияло то внимание и сочувствие к русскому революционному движению, которые обнаружились в общественном мнении Франции и Англии после шума, поднятого делом Гартмана. Желябов обратился к Драгоманову, как к конституционалисту, и полагал, повидимому, что и к террору, как к средству политической борьбы, Драгоманов относится сочувственно, чего на самом деле не было.

Одним словом я поехал в Кенигсберг и, не повидавшись ни с кем из своих знакомых среди русских студентов, провел там день у одного немца социал-демократа, занятый рассылкой воззвания по указанным адресам в заказных письмах. К воззванию я приложил также прокламации по поводу взрыва в Зимнем Дворце. Впоследствии, когда я очутился в Швейцарии, мне говорили, что все

были заинтригованы получением из Кенигсберга воззвания без писем. Некоторые газеты сначала не хотели печатать его, сомневаясь в его подлинности. Тем не менее оно произвело большое впечатление на французов.

Хочу тут привести один казус, случившийся со мной после перехода русской границы. Я попал с Залманом в немецкое местечко после утреннего отхода почтовой кареты в Шталупенен — первую железнодорожную станцию от Эйдкунена по дороге в Берлин. Чтобы не потерять день, я нанял извозчика. Вскоре после выезда из местечка навстречу нам показался конный прусский жандарм.

— Halt, крикнул он грубо, Pass vorzeigen!

Я вынул из кармана свой внутренний русский вид и подал ему. Он посмотрел и сказал:

Das kann ich nicht lesen. Zurück nach Russland!

Возница мой начал было с ним спорить, но я его остановил, сказав, что я пограничный житель и, что вернусь на границу для получения удостоверения, полагающегося пограничным жителям для ближних от германской границы поездок. Я боялся, что жандарм может доехать с нами до границы и передать меня, как это бывало в таких случаях, русским таможенным властям. Но когда мы повернули назад, жандарм нас оставил.

Я провел в местечке целый день и вечером поехал на станцию без помехи в закрытой почтовой карете.

И третья отлучка из Петербурга прошла незамеченной, и конспиративная наша квартира просуществовала до апреля 1880 года. Я был тогда послан с поручением в Москву, где пребывала М. Н. Оловенникова, и в другие места. По моему предложению я поехал также в Тверь, и при помощи крестьянки-акушерки, знакомой по Петербургу, и ее брата, достал из Тверского казначейства более

ста паспортных бланок разных цветов для крестьян и мещан и, предоставив половину Москве, другую половину отвез в Петербург. Об этом рискованном предприятии, которое могло окончиться весьма неблагополучно для участников, стоит подробно рассказать, но приходится отложить до другого раза. При ликвидации квартиры я свез мебель и другие вещи на хранение в имевшиеся раньше для этого склады, и когда Гельфман подыскала квартиру, хозяйкой которой она стала, для новой типографии, она из складов по квитанциям получила нашу старую обстановку для той квартиры.

На этом я сегодня остановлюсь. Но к изложенному мною хочу прибавить несколько примечаний.

Богучарский, отдавая в своей книге о Народной Воле должное энергии, выдержке и самопожертвованию ее деятелей, старается тем не менее умалить значение и размах революционной эпохи народовольческой деятельности.

Он указывает на немногочисленность круга людей, составлявших Исполнительный Комитет, на ограниченность их материальных средств и на несочувствие террористической деятельности так называемых либеральных кругов.

Прежде всего надо заметить, что Исполнительный Комитет состоял из людей, закаленных прежней многолетней подпольной работой в землевольческой и других революционных организациях, и что качество заменяло тут количество. Кроме того Исполнительный Комитет являлся только боевым авангардом народовольческой организации. От него, как из центра, радиусами расходились революционные группы, выделявшие в него более активных бойцов. Так, была весьма многочисленная военная группа, состоявшая по преимуществу из морских и артиллерийских офицеров. Этой группой главным образом руководил Же-

лябов, часто с агитационными целями ездивший на полигоны и в Кронштадт. С военной группой сносились также Колоткевич и Баранников. В городе штаб-квартирой этой группы служила квартира отставного артиллериста Люстига. Так как мне часто приходилось бывать на этой квартире, то многих офицеров я лично знал. Там были Суханов, Ашенбреннер, Штромберг, Рогачев, Похитонов, Серебряков и другие, ставшие известными по процессам или не открытые правительством. К сожалению, из этой группы вышел предатель Дегаев, погубивший Веру Фигнер и других крупных деятелей последних остатков Исполнительного Комитета. Я знал Дегаева как в начале его революционной карьеры, так и после его падения, когда он приехал за границу каяться, и ему было поставлено условием, что он должен убить Судейкина, при котором он состоял в качестве провокатора.

В каждом высшем учебном заведении был свой народовольческий кружок, связанный с центром более близкими к нему людьми. Так, технологами руководил Гриневицкий, погибший при убийстве Александра II; студентами института путей сообщения — Арончик, участвовавший в московском подкопе. С университетской группой и медиками имели сношения Ширяев, Исаев и также Желябов и другие. С медичками сносились сестры Оловенниковы. С заводскими рабочими вели сношения Пресняков, Панкратов, Коковский, Грачевский, Фроленко и другие. С интеллигентскими сферами сносились главным образом Перовская, Оловенникова, Корба, Фигнер. С литературным миром сносился Тихомиров, Морозов. С земцами имел сношения Иванчин-Писарев, не состоявший в организации.

Материальных средств тоже требовалось гораздо больше, чем полагает Богучарский. Хотя все народовольцы со-

стояли из людей с самыми скромными потребностями, принципиально дрожавших над расходованием каждой копейки, но масса нелегальных людей вынуждена была жить на революционные средства. Александр Михайлов, исполнявший обязанности казначея, мне раз говорил, что на одни конспиративные квартиры приходилось ежедневно тратить по 200 рублей. По тогдашним представлениям это были большие деньги. Мы ездили всегда в третьем классе, но разъезды по России поглощали много средств. Приходилось также одеваться соответственно занимаемой мнимой позиции.

Средства доставляли состоятельные лица, как состоявшие в организации, напр. Лизогуб, так и просто сочувствующие. Отчасти деньги собирались по подписным листам. Кое-что давала продажа номеров «Народной Воли» и фотографий казненных революционеров; фотографии печатал фотограф-художник Шапиро, с которым я был дружен. В числе сочувствующих лиц были и либералы-земцы. Правда, либеральные круги были против покушений на царя, но они сочувствовали террору, направленному против государственных сановников. Вспоминаю разговор на эту тему с одним земцем, от которого я получил для организации 10.000 рублей. Он жил в Европейской гостиннице, и я к нему пошел вместе с Иванчиным-Писаревым по поручению Михайлова. Этот земец говорил, что, по его мнению, покушения на царя мешают необходимым политическим реформам, в то время как убийство министров может заставить высшие сферы направить царя по другому руслу.

Я лично не хочу теперь заняться решением вопроса, какое влияние на ход внутренней политики имела террористическая деятельность народовольцев. Для историка уже имеется достаточно материалов и достаточно вре-

мени прошло с тех пор, чтобы беспристрастно можно было бросить взгляд назад. Но одно несомненно, что покушения на царя подорвали мистическое отношение к его особе в народных массах, уничтожили его обоготворение и немало содействовали окончательному падению самодержавия.

